

ОБ АРХИМАНДРИТЕ АФАНАСИИ (НЕЧАЕВЕ)

Мы сговорились было говорить о святых, и я обещался рассказать о старцах. Но сегодня как-то настоятельно просятся другие мысли; мне хочется сказать вам об одном человеке, который был, как мне кажется, очень светел, очень глубок и очень прост; он не святой, а просто человек нашего времени. Это единственный человек, которого я встретил за свою жизнь, о ком я мог бы сказать, что он был свободен той ни с чем не сравнимой царственной свободой, о которой Христос говорит в Евангелии, о которой речь идет у апостолов. По их слову, дух Христов — дух свободы; *познайте истину, она сделает вас свободными...* Свободными не в каком-то внешнем отношении, общественно, политически; это свобода другая. Свобода внутренняя, которая ничем не может быть у человека **отнята** и которую имел в виду один человек, почти сорок лет сидевший в одиночке и перед смертью начертавший на стене такие слова: “Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Него и на воле — тюрьма”. Это та свобода, о которой с самого раннего начала христианства говорили апостолы в своих устах; Павел из римской тюрьмы писал, что слово Божие не вяжется, то есть ничем не может быть связано; та свобода, о которой Христос сказал, что Он принес освобождение пленным, тем, которые в плену себя самих, в плену у страха, в плену у страстей, в плену у предрассудков, в плену у воображаемого добра или у реального зла.

Вот эту свободу мне удалось видеть один раз в своей жизни, выраженной в целой жизни человека; не только в одно мгновение его жизни, но в относительно короткой жизни, около шестидесяти лет. Я не знаю, может быть, не следовало бы говорить о человеке, который, как будто, не имеет вселенского значения, который слишком связан для меня со всей **моей** жизнью; но мне сегодня **хочется** о нем сказать...

Первый раз я его встретил, когда мне было семнадцать лет; я пришел в церковь в Париже, на Трехсвятительское подворье. Это было время **крайней** бедности; подворье помещалось тогда в подземном гараже и нескольких кельях, которые построили в коридоре над ним. Я пришел к концу службы, собирался спуститься в храм; и ко мне навстречу стал подниматься монах высокого роста, широкоплечий, в клобуке, с каштановыми волосами, который весь как будто ушел в себя. Он подымался, не обращая внимания на то, что шел ко мне навстречу; он еще жил отзвуками молитвы, церковных песнопений, святых и священных слов, которые он сам произносил и которые доносились до его слуха и вплетались в самую глубину его души. Я тогда увидел человека, как его описывает старое монашеское присловье; есть такое слово, что никто не в силах отречься от себя, отвернуться от всего мира и последовать за Христом, если не увидит на лице хотя бы одного-единственного человека сияние славы Божией, сияние вечной жизни... И вот в этом поднимающемся лице мне представилось сияние вечной жизни, слава Божия, тихая, как в песнопении вечерни: *Свете тихий святых славы бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного...* Это виденье было настолько убедительно, настолько несомненно, что, не зная, с кем имею дело, я к нему подошел и сказал: “Будьте мне духовником”. И так завязалась на следующие пятнадцать лет — приблизительно так — **встреча**, которая никогда не потускнела, и в которой мне открылся человек, который не открывался, но которого можно было созерцать; человек, который о себе не сказал бы ничего, но которого, минутами, можно было почуять, увидеть.

Он родился лет за двадцать пять до начала революции в крестьянской семье, в русской деревне. Семья была бедная, голодная; его отдали учиться в семинарию, потому что обучение было бесплатное. И там от тусклости, от безжизненности преподавания, от мертвости семинарской жизни он потерял ту веру, которая была, жила в его семье. Жизнь, вероятно, была такая, какую описывает Помяловский в рассказах о бурсе: грубая, тупая. В семинарию надо было пробираться через деревню, семинаристов ожидали уличные мальчишки, были побоища; пробивались до школы, вся жизнь была грубая. И когда он кончил семинарию, он отказался не только от священства, которое было немыслимо, но даже и от преподавательского места, потому что это казалось ему недостойным; он не мог преподавать в школе, где предполагалось, что преподаватель — верующий человек. Он поступил рабочим, а затем перешел работником

на железную дорогу. И там его застала революция. Он в ней не участвовал; она бушевала вокруг него, бросала его, как всех, и жил он тогда без Бога, без веры, без смысла; до дня, когда вдруг встретил человека верующего, члена Армии спасения, который сумел обратить его внимание на то, что он недостоин себя самого; что жить **так**, как он живет — без цели, без смысла, без Бога, с опустошенной душой, обесмысленной жизнью, нельзя. И вдруг под влиянием этого человека **жизнь** возродилась в нем. И с жизнью пришла радость... Мне пришлось встретить в России несколько лет тому назад человека, который его знал в те годы; старая теперь женщина была тогда пятнадцатилетней девочкой. Когда я ее спросил, что она помнит о нем, она ответила: “Радость!..” Когда он входил в комнату, когда он вступал в дом, когда он встречал незнакомого человека, переливалось через край и заполняло душу встретивших его сознание неудержимой, ликующей, победоносной радости. Он жил в голоде и в бедности, и радость все равно торжествовала в нем; он вступал в дом и с его вступлением делалось светло, загоралась надежда; то, что было темное, отступало на задний план. Иногда он приходил с куском хлеба, а иногда приходил с нищим. И с этим нищим надо было делиться тем очень скудным, что было дома. Но он его приводил — как Христа: странник, нищий, бедный, голодный, бездомный, обездоленный — **был** для него Христос. И он его приводил с таким торжеством: этому дому, этим людям, у которых самих не хватало еды, **им** было дано принять Христа, Его напитать, Его напоить, Ему дать кров, Ему умыть ноги, Его положить хоть на пол спать. И потом отпустить — с чем дом был богат: с сухарями или только с любовью... Кроме радости, он приносил с собой бесстрашие; в эти ранние годы гонения он без усталости и без страха говорил о Христе, Которого нашел, вернее, Который **его** нашел, Который возродил его жизнь, Который стал для него самой Жизнью.

Так он жил несколько лет. А затем, как многие, перешел границу и оказался в Финляндии. Там, на свободе, он стал проповедовать; проповедовать Христа, раздавать Евангелия. И вдруг обнаружил, что этого как-то мало для его души, что его душа просит более углубленной сосредоточенности, более богатой молитвы, **чуда** Божьего присутствия и отречения от себя и от всего, чтобы остался только и **только** Христос. И он пошел в Валаамский монастырь. Он пошел туда только посмотреть: чем живут монахи. Нанялся работником; и начал жить — ходить на монастырские долгие ночные и дневные службы, работать на полях, рубить лес, перевозить людей через, порой, опасное, бурное Ладожское озеро. И приглядываться, присматриваться, желая понять.

В этот период ему были даны разные встречи. Из этих встреч мне сейчас вспоминаются две. Вскоре после поступления кафтаником, то есть работником, в Валаамский монастырь, он поехал в один из скитов, который находился на острове, неподалеку от главного монастыря; там жил подвижник, известный строгостью своей жизни. Молодой работник хотел посмотреть на подвижника, понять, чем он живет, уловить, может быть, тайну его внутренней жизни. Поехал с одним братом; подвижник, строгий худощавый монах, их принял с радушием, с радостью, и сразу закопошился: поставил самовар, покрыл скатертью стол, принес варенья, белого хлеба. И молодой работник **сжался** внутренне: что же это такое значило? Он ищет подвижника и находит пустытника, который ест белый хлеб, варенье, готовит чай, расстилает белую скатерть на столе — разве это подвиг, разве это пустыня? И он смутился. Старик это заметил: “Прости, – говорит, – брат: я тебя смутил. Но знаешь, я теперь стар и **так** ленив, что себе позволяю то, чего не надо было бы; вот ты молод, ты попробуй прожить лучше меня”. С этим они уехали. Молодой работник — с недоумением и осуждением; его спутник — молчаливо, без всякой попытки ему разъяснить то, что он видел... Но вот прошли недели; на монастырском пайке наш молодой послушник изголодался. И истосковался по белому хлебу, и замечтал о варенье, о белой скатерти, о чашке горячего чая. И вспомнил он скит и подвижника. И решил поехать к нему в надежде на хорошее, вкусное, сытное угощение. Приехал — и снова засуетился пустыжник, снова поставил самовар, снова расстелил скатерть. Но вот, на один конец стола он поставил банку с вареньем и белый хлеб. На другой конец стола — кусок черствого черного хлеба. И с **ласковой** улыбкой он обратился к своему гостю: “Видишь, брат, я не забыл, что ты за подвигом пришел в монастырь. Прости уж меня, старика, я уж буду пить чай по своему обычаю, с белым хлебом и с вареньем, а тебе вот я припас сухого черного

хлеба...” И понял тогда молодой послушник и тяжесть монашеского подвига — поста, воздержания от всего, и мудрость этого старика.

Другой был случай. Он все недоумевал: стать монахом или нет? С одной стороны, его тянула подвижническая жизнь, молитва, валаамское богослужение, пустыня; а с другой стороны в нем продолжала жить тревога: тревога о мире, который он оставил, тревога о других людях, тревога о том, что он-то нашел Христа, он же спасается, а мир — гибнет. И не мог он решиться на монашеский путь. Казался он ему изменой миру. И как-то забрел он в келью старого послушника. Тот уже пятьдесят лет жил в монастыре, на работах по рубке леса потерял руку и ногу; пятьдесят лет так жил и все еще не решался стать монахом; отговаривался неподготовленностью, недостойнством. “Что же такое монах, — спросил его молодой послушник, — что, живя здесь пятьдесят лет, деля с монахами **всю** их жизнь, ты не решаешься принять их звание?” И этот старый русский крестьянин-послушник ему ответил: “Монах — это человек, который от сострадания плачет и молится за весь мир; я еще сострадать не научился, у меня сердце еще каменное, не могу стать монахом...” И эти слова были откровением для молодого монаха: значит, стать монахом не означает, что вы покидаете мир; мир продолжает быть для вас, как для Самого Бога, бесконечно дорогим, бесконечно значительным, и даже в одиночестве пустыни и кельи можно с ним разделить его трагическую судьбу и внести в него ту молитву, ту чистоту ума и сердца, ту **беспредельную** совершенную верность и преданность Христу и Богу, которых не хватает в нем... Эта встреча была решающей: послушник принял постриг. И после нескольких лет монастырской жизни он был послан на Запад и стал священником на Трехсвятительском подворье, единственном тогда патриаршем храме в Западной Европе.

Жизнь тогда была суровая. Жило их пять человек в гнилых кельях, денег не было никаких, на которые можно было бы покупать даже пищу, ели они только то, что прихожане складывали в картонные ящики у двери одной кельи, — остатки собственной еды. Когда не было ничего — не ели. А милостыню давали не деньгами, не едой; но вот придешь как-нибудь поздно вечером и видишь: лежит на цементном полу старый уже тогда епископ Вениамин, закутавшись в свою монашескую мантию; в его келье на его койке — нищий, на матрасе — нищий, на ковре — нищий; **ему** там места нет...

Помнится, шел отец Афанасий по дороге, по улице парижской, встретился нищий. Ему давать было нечего, он остановил прохожего, на ломанном французском языке говорит: “Разве ты не видишь, что он голоден? Дай ему денег!” Тот посмотрел и дал. А отец Афанасий пошел дальше. Не евши... И так шла жизнь.

Удивительного смирения был человек. Вспоминается одно собрание: кто-то его ругал, злословил, обзывал оскорбительными словами; он сидел, даже головы не повернул. А выходя, говорит мне: “Какой это дивный человек! И **сколько** у него должно быть подлинной любви, чтобы он мог с такой беззастенчивостью и прямоотой говорить мне правду в лицо...” И не смутился, — только смирился.

Говорить о его внутренней жизни, думаю, невозможно; он о ней никогда ничего не открывал. Говорил он вообще мало; разговаривал — да; но не “изрекал” ничего. Только можно было у него научиться радости и сиянию веры и **громadной** глубине любви, просто глядя ему в лицо. Есть рассказ из жизни египетской пустыни ранних веков. Пришли трое к старцу; двое спрашивали о духовной жизни, третий сидел и молчал. “Что же ты меня ни о чем не спросишь?” — сказал старец. — “С меня довольно смотреть на тебя...” Этот можно было сказать и о нем. Что он говорил — было просто, незатейливо, а кем он был — было иногда **до страшности** глубоко, и как-то непостижимо просто, той простотой, которая принадлежит Богу и вещам подлинно духовным; простота, которая была, как хрусталь, чистая, незатемненная, прозрачная, сияющая. Простота, которая сказывалась и в простоте отношения к жизни...

Вспоминается первая исповедь у него. Я тогда был настроен подвижнически, сурово, пуритански. После исповеди я ожидал от монаха, подвижника, сурового наставления, суровых требований. И вот он обратился ко мне с вопросом: “Ты же знаешь, что Христос сказал бы на твою исповедь: что надо поступить так и этак”. — “Да”. — “Так вот, теперь стань перед Богом и по совести Ему скажи, **что** ты готов и что ты способен из того, что **надо** было бы сделать, —

сделать на самом деле...” Разочарование... А потом изумление о том, какое это свободное, достойное отношение к Богу.

И та же свобода сказывалась и в другом. Было время, когда я старался молиться много, долго. Он меня как-то призвал: “**Много** молишься?” — “Да”. — “С **радостью** молишься?” — “Да”. — “А если обстоятельства помешают тебе молиться — нехорошо на душе?” — “Нехорошо”. — “Так вот ты знай, что на Бога ты еще не научился надеяться, а надеешься ты только на свою молитву да на свой подвиг. И вот тебе мой сказ: конец всему этому молению. Вечером и утром — пять поклонов со словами: “Молитвами любящих меня, Господи, помилуй мя”. И ни слова сверх того. Только когда так помолишься и ляжешь в постель — поставь себе вопрос: на чьи молитвы ты надеешься? **Сколько** есть людей вокруг тебя, которые тебя любят, которые о тебе молятся? — и предайся их любви. А на себя не надейся...”

Свобода; освобождение от всего того, что кажется нам подпоркой для нашей внутренней жизни и **так часто** является сужением внутреннего, превращением внутреннего во внешнее.

И потом годы прошли... Прошли годы, и в какой-то день я получил от него записку: “Теперь я могу умереть: я знаю, что такое тайна созерцательного молчания”. И через неделю умер. Умирал долго, медленно; казалось, что постепенно созревает и когда будет готов — войдет в вечную жизнь, — так оно и было. В какой-то момент тем трем-четырем из нас, которые были при нем, вдруг стало ясно: он дошел до полной меры своего роста, остается **только** умереть, — и он лежал мертвый.

Вот жизнь, облик человека нашего времени, никому сейчас почти неизвестного, забытого многими и не понятого еще большим количеством людей. Это не святой, это человек, русский священник и русский монах, который сумел быть **до конца** свободным, который сумел забыть себя так, чтобы во всех обстоятельствах жизни не потерять радость, которой он сумел так полюбить Христа и людей, что всю свою жизнь он посвятил одновременно, безразлично, без разбора Богу и людям, и который сумел в ранние и в средние годы нашей эмиграции, в голоде революционного времени, в преследовании, в обездоленности эмиграции, в сутолоке и заботе о бесчисленных людях, которые тогда заполняли храмы с горем, с тревогой, который сумел войти в **такую** глубину молитвенного молчания, что он из этой глубины молчания перешел в вечную жизнь...